

Ох уж мне это потребление, в котором «человек ест, чтобы жить» подменяется вывернутым наизнанку «человек живёт, чтобы есть». Не потребление само по себе сооружает ад земной, а это выворачивание наизнанку. Оно же — прославление потребления во имя преодоления ущемления жизненности (дайте пожить, нужна «норррмальная» жизнь и так далее).

Что ж, если жизненность рассматривать как сумму удовольствий или наслаждений, то всё на свете становится потребляемым во имя того или иного удовольствия. Тут и женщина или мужчина становятся чем-то потребляемым для удовольствия. И пища, и одежда превращаются в то же самое. Искусство — это тоже потребляемое эстетическое удовольствие.

Достаточно назвать удовольствие высшим благом и смыслом жизни, достаточно заявить о нем, как о том основном (иногда такое основное именуют «терминальным»), по отношению к чему всё остальное — это средства, инструменты, используемые для достижения этого самого «терминального», — и потребление будет поставлено во главу угла. Оно превратится из прозы жизни в некую высокую философию. Такую философию называют гедонизмом.

Гедонизм просто утверждает, что высшая ценность — это удовольствие. Когда этот самый гедонизм начинает регламентировать общественную и личную жизнь (а такое, между прочим, случалось), он превращается в утилитаризм.

Сам по себе гедонизм ничего никому не предписывает. Он всего лишь говорит, что удовольствие превыше всего. А утилитаризм пытается организовывать общество таким образом, чтобы все действия членов общества максимизировали удовольствие, приносимое друг другу, и минимизировали страдания, причиняемые друг другу.

Утилитаризм — учение социальное, ориентированное на достижение некоего совокупного общественного блага. Это учение отрицательно относится к возможности отдельного человека добиваться максимума удовольствия только за счёт других.

Гедонизм же допускает такую возможность.

Остаётся открытым вопрос о качестве удовольствий. А если, например, удовольствие состоит в пожирании ближнего? И если все начнут пожирать друг друга (пресловутая война всех против всех)? Оптимально ли такое устройство общества?

Пока что я сообщаю читателю самые общеизвестные сведения. Но вне этих сведений трудно разобраться в нынешней ситуации. Потому что забывание прошлого превращает нынешние уродства то ли в норму жизни (мол, так было всегда), то ли в нечто, продиктованное велением нынешнего особого времени (мол, очень плохо, что теперь всё сводится к потреблению, то есть к получению неких незатейливых удовольствий, но что поделаешь — время такое).

Ради преодоления двух подобных ложных подходов сообщаю читателю, что впервые в

западном обществе, к которому я отношу общество древнегреческое, гедонизм восславил античный философ Аристипп (435—355 гг. до н. э.).

Аристипп, конечно же, прославлял физические удовольствия. А также призывал к избеганию неудовольствий, то есть боли. Этому древнегреческому философу вторил его последователь Эпикур (342/341—271/270 гг. до н. э.). Но для Эпикура главное даже не обладание максимумом удовольствия, а максимальное освобождение от боли и беспокойства, сочетаемое с умеренным потреблением земных благ.

Своё место в развитии этих идей было и у древних римлян. Чтобы не превращать исследование в сумму длинных справочных материалов, назову лишь главного из них — знаменитого Тита Лукреция Кара (ок. 99—55 гг. до н. э.), преклонявшегося перед Эпикуром.

Как и его предшественники, Тит Лукреций Кар прославлял некую атараксию, то есть своеобразную безмятежность, позволяющую избегать страданий и, не отравляя ими жизнь, получать доступ к потреблению удовольствий.

Подробно об этих удовольствиях повествует столь любимый Михаилом Бахтиным Франсуа Рабле (1494—1553).

В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» Гаргантюа с невероятной подробностью описывает, чем именно он подтирал свой зад. К примеру, бархатной полумаской одной из придворных дам. По признанию Гаргантюа, прикосновение бархата «к заднепроходному отверстию доставляло мне наслаждение неизъяснимое». Далее идёт на многих страницах перечисление массы способов подтирания. По этому поводу пишутся стихотворения. Причём в таких жанрах, которые, казалось бы, исключают столь исступлённое поклонение низу (конкретно — заднему проходу).

Один из таких поэтических жанров — рондо.

Приведу классическое рондо, принадлежащее Венсану Вуатюру (1597—1648), французскому поэту XVII века (перевод Ю. Верховского).

Три долгих дня, три ночи им вослед  
Медлительно прошли с тех пор, как свет,  
Сиявший мне, смог чёрной тьмой смениться,  
Свет двух очей твоих, моя царица,  
Глаза мои пленявший столько лет.

Лью слёзы об утрате; силы нет  
Изыскивать целенье мук и бед;  
Мне каждый миг в терзаннях этих длится  
Три долгих дня.

Меня стрёмит и мысль, и грустный бред  
Искать тебя, забыв себя, свой вред;  
А если рок сейчас же не смягчится  
И не вернётся злая чаровница, —  
Не выживет в томленьях жизни цвет

Три долгих дня.

Читатель ознакомился с классическим рондо. Кстати, рондо — это не только поэтическая, но и музыкальная форма, основанная на определённом повторении и как бы круговом движении, порождаемом таким повторением.

А теперь пусть читатель ознакомится с тем, что такое «рондо» у Гаргантюа, героя Рабле, воспеваемого этим любимцем Михаила Бахтина.

Мой зад свой голос подаёт,  
На зов природы отвечая.  
Вокруг клубится вонь такая,  
Что я зажал и нос, и рот.  
О, пусть в сей нужник та придёт,  
Кого я жду, опорожня  
Мой зад!

Тогда я мочевого проход  
Прочищу ей, от счастья тая;  
Она ж, рукой меня лаская,  
Перстом умелым подотрёт  
Мой зад.

Читатель с презрением фыркнет. А зря.

Есть такой современный российский философ А. Ракитов, всегда чутко откликающийся на заказы определённых наших спецслужбистских кланов.

В своих работах я приводил его наиболее блистательные высказывания. Приведу ещё раз. «Стремление сохранять традиции — вредная нелепость! России не только не нужно сохранять свои вековые традиции, но напротив — необходимо от них избавляться! (...) И разговоры о великой национальной идее тоже чушь! Когда в Америке после великого кризиса к власти пришёл Рузвельт, была сформулирована национальная идея: чтобы в каждой семье в воскресенье была на обед курица. Примитив! Но это сплотило нацию в одном порыве — достичь подобного уровня благополучия! Теперь Америка — самая богатая страна. (...)»

Культура начинается с чистоты. Знаете, у меня нюх как у собаки. И когда я в очередной раз прилетаю в Россию, я сразу узнаю родину — по запаху туалета. Куда бы я ни зашёл, в любом государственном учреждении я могу не спрашивая найти туалет. Зрячие спрашивают: «Где у вас туалет?» — а я нет. Я его по запаху нахожу. И вместе с тем нигде за границей я по запаху найти туалет не могу! Вот вам вся разница культур и менталитетов».

Под этим лозунгом — «Даешь чистые сортиры!» — Ракитов, действуя как рупор своих спецслужбистских покровителей, фактически потребовал расчленения России на много государств, поскольку только тогда сортиры будут чистыми. А это главное. Читатель спросит: «А почему в маленьких странах должны обязательно быть чистые сортиры? Есть маленькие страны Африки и Латинской Америки, где сортиры ещё намного хуже, чем на наших необъятных просторах».

Отвечаю за Ракитова. Потому что именно в период написания этого его меморандума (предыдущий меморандум восхвалял смену культурного ядра во имя форсированной модернизации великой России и был написан перед расстрелом Дома Верховного Совета в 1993 году) определённые силы предложили нашей элите и нашей власти проект вхождения России в Европу по частям. И объяснили, что целиком войти не получится. Определённый спецслужбистский клан на это согласился. Другой клан — не согласился. И началось.

В эту игровую матрицу укладывается очень многое. Включая новые уличные «оргии» Навального.

Но всё-таки вернёмся к Гаргантюа, этому огромному предшественнику крохотного Ракитова. Перебрав колоссальное количество подтирок, он, наконец, изрёк:

«В заключение, однако же, должен сказать следующее: лучшая подтирка — это пушистый гусёнок, уверяю вас, — только когда вы просовываете его себе между ног (узнаёте Pussy Riot? — С.К.), то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусёнка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусёнок тёпленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны асфоделям, амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, всё дело в том, что они подтираются гусятами...»

Читатель, надеюсь, и сам уже нащупал тонкую, но прочную нить, связующую этот карнавальнй бред далёкого прошлого и карнавальнй бред нынешних оранжевых майданов. Но мало нащупать нить. Надо ещё внимательно исследовать и её состав, и то, как именно она изготавливается, и то, во имя чего это делается.

77

Есть эпохи относительной стабильности, в которые люди искренне верят в то, что эта стабильность, что называется, навсегда или по крайней мере надолго. Для СССР такой эпохой, конечно же, была эпоха Брежнева. В постсоветской России аналогичной, хотя и совсем иной, является путинская эпоха.

Люди, живущие в эпохи относительной стабильности, могут эту стабильность проклинать, именуя её «застой» или «стабилизец». А могут и прославлять, восклицая о горделивом величии или о том, что «наконец-то, встаём с колен». Но и проклинающие, и восхваляющие такие эпохи люди едины в своей уверенности в том, что «это всерьёз и надолго». И когда подобное «всерьёз и надолго» вдруг начинает рушиться, они ищут чаще всего источник этого обрушения в чьих-то происках или чьей-то тупости (в последнем случае речь идёт, конечно, о власти).

Один из тех, кто судорожно искал в период перед февралём 1917 года ответ на вопрос о природе царской контрпродуктивности, — Павел Николаевич Милюков. Милюков — это русский политический деятель, историк и публицист, лидер Конституционно-демократической партии (она же — партия кадетов), министр

иностранных дел Временного правительства в 1917 году.

В преддверии крушения Российской империи Милюков произнёс с трибуны Четвёртой Государственной думы свою знаменитую обличительную речь, в которой рефреном звучали слова «Глупость или измена?».

В этой речи, в частности, говорилось о том, что «во французской жёлтой книге был опубликован германский документ, в котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, как создать в ней брожение и беспорядки. Господа, если бы наше правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу или если бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или средства подкупа, то ничего лучшего они не могли бы сделать, как поступать так, как поступало русское правительство».

Разбирая далее предательскую роль одного из крупных чиновников той эпохи, Манасевича-Мануйлова, Милюков говорит:

«Почему этот господин был арестован? Это давно известно и я не скажу ничего нового, если повторю то, что вы знаете. Он был арестован за то, что взял взятку. А почему он был отпущен? Это, господа, также не секрет. Он заявил следователю, что поделился взяткою с председателем Совета Министров».

Разбирая дальше связку между Манасевичем-Мануйловым, Распутиным и Штюмером, который был и обер-камергером Императорского двора, и председателем Совета Министров, и какое-то время министром внутренних дел, а потом — министром иностранных дел, Милюков цитирует передовую статью в одной из иностранных газет, в которой говорится о том, что «как бы ни обрусел старик Штюмер, всё же довольно странно, что иностранной политикой в войне, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец».

Далее Милюков обсуждает действия немецкой партии в России и, наконец, выходит на тему «глупости или измены». Этот выход осуществляется таким образом. Милюков вначале цитирует одного из членов Совета Министров, который, услышав, что Государственная дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник!» Считается, что эта фраза была сказана военным министром Российской империи Д. С. Шуваевым, который был обвинён в шпионаже в пользу Германии.

Прочитав Шуваева, Милюков развивает тему: «Господа, предшественник этого министра был несомненно умным человеком, так же, как предшественник министра иностранных дел был честным человеком. Но их теперь ведь нет в составе кабинета. Так разве же не всё равно для практического результата, имеем мы в данном случае дело с глупостью или с изменой?»

Далее Милюков неоднократно воспроизводит это же вопрошание:

«Когда со всё большею настойчивостью Государственная дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать — значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена?.. Когда на почве общего недовольства и раздражения власть намеренно занимается вызыванием народных вспышек — потому что участие

департамента полиции в последних волнениях на заводах доказано, — так вот, когда намеренно вызываются волнения и беспорядки путём провокации и притом знают, что это может служить мотивом для прекращения войны, — что это делается, сознательно или бессознательно?»

Далее Милюков говорит: «Нет, господа, воля ваша. Уж слишком много глупости». Я мог бы и дальше цитировать эту речь. Или сопоставлять её с различными высказываниями весьма неглупых людей, которые в преддверии Великой французской революции изумлялись по поводу столь же странного поведения французского короля Людовика XVI и французского двора, руководимого его супругой Марией-Антуанеттой. И, наконец, я мог бы всё это сопоставлять с тем, что происходит сейчас на наших глазах. Но моя задача совершенно в другом. Она в том, чтобы обнажить сущностную неправоту и русского предреволюционного вопрошателя Милюкова, и аналогичных предреволюционных французских вопрошателей. Причём я намерен это осуществлять не с помощью собственных логических и психологических рефлексий, а опять же с помощью цитирования.

На этот раз я процитирую французского политического деятеля, лидера Консервативной партии порядка, Министра иностранных дел Франции в 1849 году Алексиса де Токвиля (1805—1859), чей прадед Кретьен де Мальзерб (1721—1794) был одним из адвокатов на суде над Людовиком XVI и поплатился за это жизнью, став жертвой якобинского террора.

Будучи аристократом, чьи предки яростно боролись против Французской революции, Алексис де Токвиль критиковал старый порядок в своей книге «Старый порядок и революция». Книга эта известна меньше, чем основная работа Токвиля «Демократия в Америке». Но, на мой взгляд, она является самым глубоким исследованием данного выдающегося мыслителя.

Вот что противопоставлял вопрошаниям о глупости или измене Алексис Токвиль в этом своём глубоком исследовании: «Французская буржуазная революция останется лишь тёмным местом для тех, кто не захочет видеть ничего, кроме неё; свет, способный её прояснить, надо искать во времени, которое ей предшествовало (вдумаемся, насколько эта мысль глубже криков Милюкова и прочих аналогичных псевдоинтеллектуалов — С.К.). Без чёткого представления о старом обществе, его законах, его порядках, предрассудках, его убожестве и величии никогда не станет понятно, что же делали французы в течение шестидесяти лет, последовавших за его падением».

Я никогда не мог понять, почему эта концепция, высказанная Токвилем, так трудно входит в чьи-либо головы, почему её не применяют ни при анализе французской революции 1789 года, ни при анализе русской революции 1917 года, ни при анализе псевдореволюции, именуемой «перестройка и ельцинизм», ни при анализе нынешних оранжевых раскачек.

Ведь Токвиль, обсуждая старый порядок, имеет в виду не всю историю Франции и даже не всю историю феодальной Франции, и даже не весь французский абсолютизм. То есть он всё это обсуждает и правильно делает. Но нас, читатель, интересует, конечно же, некий «галантный век», он же — Ancien Régime, он же — «старый порядок».

Ancien Régime — это относительно короткий период. Он начался после кончины великого французского короля Людовика XIV, заявившего «Государство — это я» [«L'état c'est moi»] и выстроившего стабильное французское абсолютистское государство, прервав столетие предшествовавшей смуты. Он длился вплоть до Великой французской революции. А апогей его приходился, конечно же, на правление Людовика XV. Главная фаворитка этого короля маркиза де Помпадур, узнав о неудачном сражении при Россбахе, заявила: «После нас хоть потоп» (Après nous le déluge).

Итак, Ancien Régime пришёл на смену великому веку короля Людовика XIV. При этом короле, царствовавшем аж 72 года (1643—1715), Франция действительно расцвела, консолидировалась, приобрела новую военную мощь и новый политический вес в Европе, фактически стала европейским континентальным гегемоном и, наконец, вышла на новый уровень экономического развития.

Но под конец жизни успехи Людовика были фактически сведены на нет, Франция перенапряглась в войне за испанское наследство, а решение проблемы преемника было существенно осложнено смертью целого ряда ближайших родственников этого великого короля.

В итоге возникло регентство, причём достаточно сложное, потому что в регентский совет Людовик включил двух своих сыновей, рождённых не от законной королевы Франции, а от фаворитки, маркизы де Монтеспан.

Правление Людовика XIV длилось 72 года и 110 дней. Оно начиналось смутой фронды, оно достигло блеска в своём апогее, и оно имело достаточно мрачный, но величественный конец. А вот потом наступила так называемая галантная эпоха, она же — Ancien Régime. Наступив, она длилась фактически вплоть до Великой французской революции. Внутри неё и предлагает Токвиль искать причины этой революции.

Чувствуете? Внутри эпохи, а не в отдельных неадекватных поступках тех или иных фигур.

Что же это за эпоха?

Я бы с удовольствием описывал её характерные экономические и политические черты и обсуждал, относится она к эпохе феодализма или представляет собой странную постфеодальную конструкцию, отличающуюся и от феодализма, и от капитализма. Но цели данного исследования не позволяют мне дать развёрнутое описание этого странного времени.

Потому что я должен сосредоточиться на одном: на том, что эта эпоха была ярчайшим примером последовательной политизации гедонизма. Что это была эпоха, возведшая культ наслаждения в основной жизненный принцип. Что это была эпоха возведения на пьедестал того, что позже будет названо «модой», и того, что позже будет названо «сексом».

Казалось бы, какая разница между галантностью, исповедуемой в эту эпоху, и средневековой куртуазностью? Но на самом деле, разница очень велика. Конечно, и средневековая куртуазность с её культом поклонения Прекрасной Даме — явление очень непростое и далеко не столь однозначно позитивное, как считают поклонники Данте и Петрарки.

Но внутри средневековой куртуазности было ещё место духовной вертикали, а внутри галантности ей уже места не было. Форма победила содержание. Изыщество ужимок и прыжков, сопровождавших вполне похотливые приключения, оказывалось самозначимым. Все эти языки вееров, мушек, цветов, все эти отточенности взглядов, жестов, слов и манер прикрывали собой вполне определённое содержание, в котором сочетались скука и звериная похотливость.

За всем этим просвечивала специфическая инфантильность. Человек «галантной эпохи» не просто боялся старости. Он агрессивно воевал с ней, заявляя о том, что не хочет становиться взрослым. А что значило «становиться взрослым»? Это значило брать на себя ответственность за страну (обсуждаемая «галантность» — удел высшего сословия, которое должно было брать на себя такую ответственность), это значит очень много работать (обсуждаемая «галантность» требовала праздника «нон-стоп»). Это значит высоко ценить продуктивную деятельность (обсуждаемая «галантность» этой деятельности чуралась).

Взрослые инфантилы из аристократии, терзаясь скукой и утоляя её блудом и развлечениями, хотели превращения жизни в игру, твёрдо знали, что имеют право жить за счёт других, не были способны провести какую-либо жизненную линию, противопоставляя ей постоянные перемены.

В опере Чайковского «Пиковая дама» герой поёт: «Что наша жизнь? Игра». Но этот поздний по отношению к «галантной эпохе» герой хотя бы страдает от такого качества своей жизни и жизни своего общества. И даже если он, приравнивая жизнь к игре, утверждает универсальность и «всегдашность» осуществляемого приравнивания... Что ж, по крайней мере, он явным образом страдает от этого. И это страдание доводит его до самоубийства.

Люди «галантной эпохи» превращали жизнь в игру совсем иначе: радостно, вульгарно и в каком-то смысле даже брутально. А поскольку Франция в эпоху после Людовика XIV была законодательницей общеевропейской моды, то следом за ней шли элиты других стран, дворцы иных государей.

Особо зависимая от каприза государей именно при абсолютизме дворцовая элита «галантной эпохи» не тяготилась этой зависимостью, а придавала ей буквально культовый характер. Соответственно, культом, исповедуемым этой суррогатной элитой, был культ каприза. Каприз государя и мой каприз — вот формула «галантной эпохи». Но там, где правит бал культ каприза, нет места чести, этому единственному духовному стержню военно-дворянского бытия. Потому это бытие разваливается, не порождая на своих обломках иного конструктивного бытия.

Вы скажете — дела давно минувших дней? Полно! Давайте, приглядевшись к «галантно-инфантильному» прошлому, распознаем в сегодняшней жизни нашей его ядовитые семена, они же — семена особого гедонизма, политического гедонизма, гедонизма элитного.

Оговорив вначале, что «рыба только начинает тухнуть с головы, а потом начинает смердеть всё тело этой особой рыбы, чьё название — общество».

Одна из главных черт гедонизма так называемого галантного века, который мы пытаемся сопоставить с чем-то более актуальным, — это инфантилизм. Человек, входивший в элиту этого самого «галантного века», категорически не хотел взрослеть. С этим соединялся страх перед старостью, которая казалась человеку «галантного века» разновидностью тяжелейшего и позорнейшего заболевания.

Широко известно, что далеко не все общества относятся к старости подобным образом. Хотя во всех обществах воспеты некие сожаления по поводу уходящей молодости, старческого увядания и так далее. Но, тем не менее, почётная старость, воспринимаемая как нечто весьма уважаемое и почитаемое в силу приносимой её обладателями пользы для общества (старый человек — это носитель бесценного опыта), является важнейшей чертой определённых эпох. Но не чертой «галантного века».

Страх перед старостью и боязнь взросления превращали классических персонажей «галантного века» в жадных потребителей весьма специфической культуры праздника, в которой этот самый праздник противопоставлялся не только трудовым будням, но и любой напряжённой целенаправленной деятельности. Ведь такая деятельность по определению предполагает постоянство, верность своему делу, последовательность в осуществлении этого дела, отказ от вознаграждения — отказ, источником которого является самодостаточность деятельности или же отсрочка вознаграждения. А главное, день за днём, месяц за месяцем, год за годом делается нечто, передаваемое как эстафета от одного дня к другому, от одного месяца к другому, и так далее.

Для обитателя «галантного века» такое однообразие ужасно. Обитатель «галантного века» не должен в новом дне или в новом месяце узнавать прежний день и прежний месяц. А если ты всё время занят чем-то одним, то это одно занятие и породит подобную узнаваемость. Положим, ты не ворочаешь каждый день тяжёлые глыбы, не куёшь мечи и подковы, не корпишь над чтением и переписыванием тех или иных фолиантов. Но даже если ты день за днём и месяц за месяцем играешь на музыкальном инструменте, пишешь стихи или воюешь, занимаешься дипломатией или разведкой, управляешь поместьями или заводами, — ты однообразен. И потому — порицаем «галантным веком». Хорош же ты для этого века, только если взыскуешь ежедневных праздничных перемен. И не только взыскуешь их, но и способен их обеспечить для себя и других.

Кстати, об этих других. Жить за их счёт — это стыдно для представителей самых разных эпох, но не «галантной эпохи». Представитель «галантной эпохи» гордится тем, что он живёт за счёт других. Он хочет жить только так. И считает только такую жизнь правильной и достойной.

И совершенно очевидно, что так живут именно дети. Что именно детям не только позволено, но и вменено в каком-то смысле жить за счёт других. Что для детей (если, конечно, это не дети, вкалывающие на заводах и сельских угодьях с семилетнего возраста) в подобной жизни за счёт других нет ничего предосудительного. Напротив, это нормально, потому что род человеческий по своей природе нуждается в очень долгом взрослении представителей молодого поколения и в очень сложной передаче этому новому

поколению межпоколенческой эстафеты. Зверь быстро передаёт навыки детёнышу, ибо детёныш обретает навыки, в которых преобладает так называемое инстинктивное ядро, передаваемое или просто по наследству, или с помощью очень быстрого запуска почти наследуемых поведенческих процедур. Вокруг инстинктивного ядра любого навыка формируется очень тонкая и примитивная оболочка, создание которой требует обучения (той же охоте, например). Но в силу тонкости и простоты оболочки и преобладания инстинктивного ядра обучение осуществляется достаточно просто и достаточно быстро. Человек устроен совсем иначе. Мы не можем с категоричностью утверждать, что знаем, как именно он устроен. Но настолько же, насколько неприемлема такая категоричность, неприемлемо и беспомощное разведение руками: мол, мы ничего не знаем. Человек на то и человек, чтобы обладать определённым знанием, накапливать его, исправлять, дополнять, пересматривать и при этом постоянно передавать из поколения в поколение. Поскольку накапливается всё больше знаний и они приобретают всё более сложный характер, их передача начинает требовать всё большего количества времени. Одновременно, конечно, меняется человек, которому эти знания надо передавать. Меняется скорость усвоения знаний, методы их передачи, степень уплотнённости передаваемой информации, соотношение между информацией, которую надо просто осваивать, и информацией, которую можно получать, используя базовые принципы, позволяющие выводить массу информационных следствий из определённых, в общем виде освоенных алгоритмов.

Восславляя детскость, праздничность, непоследовательность, постоянное перескакивание на качественно разные поля праздничности, объединённые лишь праздничностью как таковой, посягают на сам принцип человечности, на идею человеческого восхождения, человеческой способности к усложнению, осуществляемому и в пределах одной жизни, и за счёт передачи поколенческой эстафеты.

Можно, конечно, свести всё это к причудам недолгого «галантного века». Но то-то и оно, что время от времени в человеческой истории возникают новые и новые «галантные века» или «галантные микроэпохи». И не живём ли мы в одну из них? Не должны ли мы присмотреться к циклам этой самой «галантности», увидев нечто сходное в «галантности» античной эпохи и иных типах «галантности»?

Один из таких общих признаков разных «галантных» эпох — восхваление каприза. В этом опять-таки имеет место проявление всё той же инфантильности. Ребёнок в каком-то смысле имеет право на каприз. То есть на открытое и достаточно сильное проявление неудовольствия по поводу того, что некая твоя потребность не удовлетворяется по твоему первому требованию. Впрочем, даже к детским капризам взрослые относятся критически. Недаром словосочетание «капризный ребёнок» никак не содержит в себе поощрения ребёнка к подобному поведению. Любой разумный родитель скажет ребёнку: «Ты капризничаешь, и это нехорошо».

Казалось бы, что уж тут говорить о капризах взрослых. Это должно оцениваться как нечто совсем неприемлемое. Но не тут-то было. Для «галантных» эпох (или «галантных» микроэпох) взрослый каприз — это поощряемый «галантным» обществом тип поведения. И поощряется он именно потому, что приветствуется отказ от взрослости как таковой и

всех её слагаемых. Одним из которых является, например, продуктивная деятельность. Итак, вы залетели в «галантную эпоху» и порхаете с одного лужка удовольствия на другой, следя только за тем, чтобы каждый новый лужок содержал в себе совсем новое удовольствие и не походил на предыдущий. Можно ли так долго порхать? Ясно, что это невозможно даже для ребёнка, и уж тем более для взрослого человека. И тогда рождается скука. Она есть обязательная черта «галантной эпохи». Человек «галантной эпохи» борется в первую очередь даже не со старением или необходимостью напряжённых усилий, он борется со скукой прежде всего.

А как можно бороться со скукой, если ты являешься инфантилом? Только превращая жизнь в оргию потребления. Так разве не это видим мы сейчас? И разве с этим напрямую не соотносится и производство инфантилизма, причём осознанное? Инфантил для скуки и скука для инфантила — вот формула... Формула чего? Новой микроэпохи «галантности»? Стоп!

Только ли в пределах «галантных эпох» поощряется взрослая капризность? Герой «Записок из подполья» Достоевского не является представителем классической французской или иной «галантной эпохи». Он — существо достаточно мрачное и мизантропическое. Но и он в своих записках говорит о капризе следующее:

«Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится».

Почему-то редко проводят параллель между этой очень зловещей и глубокой фразой подпольного гения и монологом Великого инквизитора, в котором говорится:

«И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твоё и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если бы и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они».

Моделируя своё поведение в условиях Второго пришествия Христа, инквизитор говорит:

«Я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь».

И, собственно, почему бы не соотнести фразу о капризе, за который стоит зловещий подпольный гений, и эту тираду Великого инквизитора? Автор один и тот же — Достоевский. Мысль Достоевского постоянно вращалась вокруг темы, заданной монологом Великого инквизитора. Счастливые младенцы, о которых говорит Великий инквизитор, — это инфантилы, воспитанные в рамках проекта, который так и называется — «Великий инквизитор». Инфантил должен стоять за свой каприз. Зловещий подпольный гений — это суперинфантил и в качестве такового он «стоит за свой каприз».

Поскольку Достоевский всегда переводит одну и ту же мысль в разные тональности и регистры, то такой перевод в разные регистры и тональности одной и той же мысли об

обществе счастливых младенцев, «стоящих за свой каприз», мне представляется не только допустимым, но и просто необходимым. Ведь не зря говорят, что художника надо судить по его творческим законам. Главный творческий закон Достоевского — резкие переводы одной и той же мысли в совершенно разные регистры с искажением этой мысли до неузнаваемости, сочетаемым с постоянством того ядра, которое сформировано этой мыслью.

Кстати, подобное свойство художественного метода, использованного Достоевским, прекрасно уловил Бахтин в своей книге «Проблемы поэтики Достоевского». Бахтина можно и должно рассматривать в качестве конструктора весьма зловещих моделей и культурных мегастандартов, а также в качестве ничуть не менее зловещего аналитика. Но это вовсе не предполагает отрицания масштаба творческого таланта Бахтина как филолога и философа. Кстати, разве воспеваемый Бахтиным гедонизм Рабле так уж далёк от гедонизма зловещего подпольного гения или от гедонизма обитателей мира, созданного по проекту «Великий инквизитор»? И не одно ли и то же существо упивается поиском наиболее мягких подтирок собственной задницы, стоит за свой каприз, создаёт общество счастливых младенцев и орёт устами подпольного гения: «А на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить?»

Впрочем, не в Достоевском дело и даже не в его предвидениях. Дело в нынешней гедонистической эпохе или микроэпохе, которая получила в свои руки невероятные возможности делания человека. Такие возможности Достоевскому и не снились. И если эта эпоха делает гедониста, человека скуки и так далее, то как к этому относиться? Что копошится внутри эпохи? Чья воля осуществляет такое делание? Кто-то начитался «Великого инквизитора»? Кто? И этот начитавшийся получил в свои руки средства осуществления проекта, который Достоевский мог только предугадать?

Если это так, то не является ли «галантность» нашей эпохи прологом к чему-то необратимому? Не упакована ли она в определённый или супер- или посткапитализм, создающий человека капризного, человека скучающего, человека как счастливого дитя, и не просвечивает ли через всё это постчеловек, живущий в эпоху постгуманизма и постистории и гарантирующий своим прозябанием, своей детской беспомощностью, своими детскими страхами устойчивость общества, по сути своей являющегося и пост-, и суперкапиталистическим? Общества, которое не мог предвидеть в силу объективных причин не только Достоевский, но и Карл Маркс.